

**«СОВСЕМ ДРУГАЯ ТЕМА, ДРУГОЕ НАПРАВЛЕНИЕ,
ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА»:
ТВОРЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В.В. РОЗАНОВА 1910-Х ГОДОВ**

Я.В. САРЫЧЕВ

Кафедра русской литературы XX века
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Ленинские (Воробьевы) горы, 119992 Москва, Россия

На материале «Уединенного» и «Опавших листьев» показана специфика творческих исканий В.В. Розанова 1910-х гг. Идейно-эстетическая сверхзадача данного периода определена как попытка обоснования Розановым особого направления национального мышления и творчества.

Фраза из «Уединенного» В.В. Розанова, вынесенная в заглавие статьи, в современном литературоведении обычно «препарируется» в контексте некоего постмодернистского «дискурса»; при этом «другая литература» Розанова (в духе, жанре и стиле «Уединенного») ставится в прямую параллель с нынешней «другой литературой» постмодерна [1]. Если игнорировать мировоззренческий и исторический критерии в оценке творческого феномена Розанова, подобная операция выглядит вполне оправданной; во всяком случае, общая *модернистичность* розановского жанрово-стилевого эксперимента 1910-х гг., нацеленного на «преодоление» и «разложение» наличной литературной традиции, очевидна и к тому же получила более чем достаточное осмысление в исследованиях Б. Шкловского, А. Синявского и целого ряда движущихся в заданном русле ученых. Следует, однако, указать на тот факт, что для самого Розанова поиски в плоскости «стиля и жанра» не были чем-то первичным и абсолютно самостоятельным, но производным от более для него насущных, стержневых задач творчества. Общеизвестно, что в 1910-е гг. параллельно с меняющимся подходом к принципам художественно-публицистической деятельности не менее радикально изменяется мировоззренческая и общественно-политическая «платформа» Розанова – именно в сторону резкого (даже нарочито резкого) усиления консервативного элемента. И потому наиболее существенным и, пожалуй, главным «парадоксом» Розанова, определившим своеобразие его «жанровой» прозы («Уединенное», «Опавшие листья» и т. п.), является, с одной стороны, *консерватизм общественной позиции* писателя, и его же *художественный модернизм* («разложение литературы») – с другой.

Разгадка этой розановской «загадки», как представляется, лежит в плоскости соотношения и диалектического взаимодействия *общественного* и *литера-*

турного «дискурсов» «Уединенного» и «Опавших листьев» как некоего *сознательно выстраиваемого* Розановым «направления» грядущей русской прозы.

Мировоззренческую и общественно-политическую эволюцию Розанова условно, но достаточно точно можно выразить как последовательную смену трех этапов: ранний «славянофильский» период (1880–1890-е гг., до начала активной печатной пропаганды «пола») сменяется «неохристианским» (рубеж XIX–XX вв. и 1900-е гг.), ознаменовавшимся смычкой Розанова в идеалах и верованиях с кругом Мережковских и их религией-идеологией «Духа Святого и Плоти Святой», деятельной разработкой и пропагандой «метафизики пола» и борьбой с «метафизикой христианства»; с конца же 1900-х и в 1910-е гг. в творчестве Розанова вновь происходит резкое нарастание «неославянофильских» или «неоконсервативных» тенденций. И дело тут опять не в самих по себе «парадоксах» розановских колебаний «между консерваторами и радикалами» [2], а в определенной, пусть и далеко не очевидной *логике* того нового направления («другого направления»), которое стремился придать Розанов своему творчеству именно в 1910-е гг.: «Это во 2-й раз в моей жизни: корабль тонет – а пушки стреляют. 1-й раз было в 1896–1898 гг.: контроль, чванливо-ненавидяще надутый Т. И. Ф., редакции «своих изданий» (консервативных), не платящие за статьи и кладущие «подписку» на текущий счет, дети и жена и весь «юридический беспорядок» около них, в душе – какая-то темная мгла, прорезаемая блёсками гнева: *и я, «заверотив пушки», начал пальбу «по своему лагерю»* [курсив наш. – Я.С.] – всех этих скупых (не денежно) душ, всех этих ленивых душ, всех этих бездарных душ» [Розанов В.В., 1990. Т. 2, с. 388–389].

То есть, по Розанову, «Уединенное» с «Опавшими листьями» являются ничем иным, как *обратным* «заверотом пушек»; только теперь «своими», по которым ведется «пальба», становятся не косные национал-консерваторы, а «неохристиане», реформистское движение «нового религиозного сознания» и генетически связанная с ним русская «прогрессивная» интеллигенция. Более того, находит свое объяснение и «оправдание» в контексте нового «поворота» писательской судьбы выпуск Розановым в свет таких книг, как «Литературные изгнанники», «Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову», «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», «Война 1914 года и русское возрождение», не менее, чем розановские «листья», скандализировавших прогрессивно-либеральную печать и «общественность»: теперь, как и прежде, Розанов радикально разрывает с якобы «своим лагерем» путем нахождения наиболее «болезненных» точек в его мирозерцании и общественных установках, объективно стремясь и в том и в другом случае достичь некоей «точки невозврата», бесповоротно «скомпрометировав» себя в глазах бывших единомышленников. При этом (в плане творческого «самосознания») Розанов не только соблюдает, но едва ли не сознательно конструирует преемственность различных этапов и периодов своего творчества: ««Трепетное дерево» я написал именно как 1-ю главу «Тем. Лица». А за сколько лет до «Т. Л.» оно было напечатано, и *тогда* о смысле и тенденции этой статьи никто не догадывался.

А в предисловии к «Люд. лун. света» – уже все «Уедин.»» (с. 327).

В силу этого небезосновательно будет предположить, что в «Уединенном» и последующих розановских сборниках миниатюр наличествует своеобразная *система шифров*, посредством которых достигается смычка с прежним творче-

ством. Ибо здесь в лапидарной форме отражены все тематические и смысловые линии предшествующих периодов, однако преподносятся они под изменившимся углом зрения: Розанов, по-новому повествуя о «былом», тем самым как бы указывает, в каком свете, с каких позиций следует «прочитывать» предыдущее и как относиться к нему. Так, например, «Уединенное» начинается с саркастической реплики в адрес «декадентов» и «извинения» перед В.П. Протейкинским. И сразу в сознании *знающего* читателя возникает аллюзия на период 1901–1904 гг. – время расцвета «нового религиозного сознания», время Религиозно-философских собраний и «Нового пути». Но от всего этого былого великолепия в памяти осталось лишь чувство вины перед рядовым участником Собраний Протейкинским. Следующая сценка – в *родной* редакции «Нового времени». Позиция Розанова ясна: от «декадентства» и «неохристианства» – к «славянофильству», от «Нового Пути» – к «Новому Времени». Действительно, на страницах бесконечной «лирической газеты» Розанова вновь возникают, как бы восстают «в блеске новом» фигуры былых друзей, знакомых и единомышленников – Н. Страхова, К. Леонтьева, К. Победоносцева, А. Суворина, С. Шарапова, В. Скворцова, Ф. Шперка, Рцы (И. Романова) – «изумительно талантливых» «ангелов» (с. 255–256) и «гениев» русского консерватизма, апология которых дается зачастую в обрамлении трагических обстоятельств их бытовой и литературной судьбы. Кается Розанов и перед «добрым духовенством» за «совершенно *непереносимые*» обвинения в его адрес (с. 266–267) и вообще за противохристианскую полемику (с. 433–434). Подвергаются переоценке прежние «попутчики» по «неохристианскому» движению. Так, Мережковский теперь обозначен как «видный либеральный писатель щедринской Руси», трагический парадокс литературной судьбы которого видится в том, что он «оделся» в свой же собственный афоризм «пошло то, что пошло» (с. 402–403). Издевается Розанов и над Философовым – «другом рабочих» (с. 306), над «Зиной» и прочими декадентками, которые столь бесплодны, что не в силах родить даже муху. И все они – «либеральные христиане», «ищут Христа *вне Церкви*» (с. 444–445), т. е. занимаются делом пустым и безнадежным, а по большому счету – прямо невозможным.

Было бы, однако, недальновидно расценивать отмеченные моменты лишь как факт «переоценки ценностей» и «смены вех». Идейный, жизненный и организационный (исключение из Петербургского религиозно-философского общества) разрыв Розанова с «неохристианством» был в первую очередь обусловлен эволюцией мировоззрения и социальной тактики Мережковского, который «сам себе изменил, сам себя предал», решив «в каком-то новом обольщении <...> привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков <...> без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете» [Розанов В.В., 1995, с. 329], что, собственно, вовсе не отменяло для Розанова *опыта* «нового религиозного сознания» в плане собственного идейного и творческого развития, ведь «изменил»-то Мережковский, а не сам Розанов. Поэтому, оценивая в «Опавших листьях» «свое «почти революционное» увлечение 1900., лет 1897–1906 гг.», Розанов «парадоксально» констатирует: «Оно было право» (с. 330). Комментируя в интервью «Петербургской газете» «исключение» из Религиозно-философского общества и вообще разрыв с «новым религиозным сознанием» как общественным движением, Розанов так поясняет свою позицию в от-

ношении к «изменившему» свое направление «обществу», возглавляемому «былыми друзьями»: *«Мне кажется безумием, что они делают, им кажется безумием, что я делаю и пишу [курсив наш. – Я.С.]. <...> «Деятельность» их («общественная деятельность») мне отвратительна, и я бы охотно сжег их книги и статьи, – как пустословие. Но бывшая дружба скоро не забывается»* [Никитин С., с. 3]. Что же такое «делает» Розанов, что он имеет в виду? Ведь очевидно, что проблема им берется шире, нежели известные антисемитские выступления, послужившие поводом к исключению. Да и резко негативной реакцией «триумвирата» Мережковских отмечены не только эти «антиобщественные» выступления, но и весь розановский творческий «поворот» 1910-х гг., первоначально сказавшийся именно в «Уединенном». «Дело» Розанова, как представляется, заключалось для него в том, что в противовес *идеалу* «новой религиозной общности» Мережковского с сотоварищи, жидущемуся на «гнилом» субстрате интеллигентского либерализма, сам он в «Уединенном» и «Опавших листьях» выдвинул, философски и эстетически «сконструировал» *противоположный* этому *идеал* *новой, подлинно религиозной, мистически углубленной и самоуглубившейся общности*; при этом национально мыслящий консервативный элемент в России берется за исходную точку отсчета и презентуется как социальная опора национального творчества во всех сферах жизни.

Но «строить» свою «новую общественность» Розанов начинает отнюдь не на идейном субстрате «старого» славянофильства; напротив, не раз намеренно подчеркивается прискорбный факт неудачи общественно-философского и литературного дела представителей «русского направления»:

«Печальны и запутанны наши общественные и исторические дела... Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика Н.Н. Страхова – снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какой-то тенью, а не реальностью... – у меня душа мутится...

Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока...

Да и сколько таких <...> философов, поэтов, одиночек-мыслителей. <...>

Со старой любовью к старой родине...» (с. 428).

Глубокий и содержательный консерватизм «литературных изгнанников» оказался лишенным не только общественной поддержки, но и (это главное для Розанова) *внутренней силы*, способной переломить порочную «родовую» тенденцию национально-культурного сознания – безразличие к сколь-нибудь значимому содержанию, требующему напряжения мысли: «Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается» (с. 291). А потому необходимо избрать принципиально иной путь: *«Побудить ветер может только ветер же [курсив наш. – Я.С.]*: нужно возникнуть чему-нибудь тоже легкому, но легкому, так сказать, обратного смысла, дабы овладеть вниманием улицы, перенести его на другие предметы, к другим горизонтам» [Розанов В.В., 1995, с. 162]. Начало деятельное, волевое («volō»), *силу* как внутреннее качество целого общественного движения Розанов усматривает лишь в русском «нигилизме» 1860-х гг.: «К силе – все пристаёт, с *силою* (в союзе с нею) – все безопасно: и вот история нигилизма или, точнее, нигилистов в России» (с. 527). Такую же силу, теперь уже и идейную, способную «повернуть» «все религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная, что она *есть*, определенно зная, где она» [Розанов В.В., 1995, с. 271], Розанов почувст-

вовал на рубеже веков в «новом религиозном сознании» – и *примкнул* (во многом со *своими* целями) к этой «силе». Да и русский модернизм (или «декадентство», по терминологии Розанова) заинтриговал писателя в совершенно особом качестве, был оценен как типологически сходный с «нигилизмом», но противоположный по духовному «поветрию» феномен: «Как хорошо, что эта Дункан своими бедрами послала все к черту, всех этих Чернышевских и Добролюбовых. Раньше, впрочем, послали их туда же Брюсов и Белый...

О, закрой свои бледные ноги.

Это было великолепно. Поползли на четвереньках, а потом вверх ногами. И тщетно вопияли Лесевичи и Михайловские:

– Где наш позитивизм? Где наш позитивизм!!!

Позитивизм и мог быть разрушен только через «вверх ногами».

На эмалевой стене

Там есть свет чудных латаний.

Дивно. Сам Бог послал. Ничего другого и не надо было. Только этим «кувырканием» в течение десяти лет и можно было прогнать «дурной сон» литературы» [Розанов В.В., 2001, с. 18–19].

Модернизм, как видим, имел для Розанова чисто *операционный*, а не самостоятельный (эссенциальный) смысл, функционально сводился к *расчистке почвы для нового – оригинального и самостоятельного – русского национально-го творчества*, «основоположником» и провозвестником которого как раз и претендовал стать Розанов. Сами же по себе «декаденты» – «пустые люди, без значения; не нужные России» (с. 272).

Отсюда следовал этапный в плане творческого самоопределения Розанова 1910-х гг. и внутренне закономерный вывод: новое направление развития национального мышления и творчества возможно лишь через радикальное будоражение и вообще через радикальную *трансформацию* наличного общественного сознания. Эту задачу Розанов не только ставит, но и *исполняет* в «Уединенном» и «Опавших листьях», целенаправленно скандализируя и разрушая посредством своих «парадоксов», «невозможных» высказываний и «откровений», особой «образности» и положенного в основу повествования «метода» «психологичности» традиционное (стереотипное) массовое сознание во всех его модификациях и проявлениях (чем, в частности, обусловлено и разрушение литературных канонов и стереотипов, «разложение литературы»).

Помимо прочих важных задач, подобное «новаторство» позволяло Розанову утвердить и обосновать свое писательское и общественное «Я» как некий эпицентр национально-творческого развития, как стержневую и даже во многом провиденциальную («каждая моя строка есть священное писание», «все, что я говорю, – хочет Бог, чтобы я говорил» (с. 246, 248)) фигуру эпохи.

«Трех людей я встретил умнее, или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фл-го. <...>

Прочие из знаменитых людей, каких я встречал: Рачинский, Страхов, Толстой, Победоносцев, Соловьев, Мережковский, – не были сильнее меня... <...>

Да... Еще сильнее себя я чувствовал Константина Леонтьева (переписка с ним)...

Но <...> в то время как у них все «порвалось» или «не дозрело», у меня и не порвалось, и, я думаю, дозрело» (с. 257–258).

Более того, Розанов всячески стремится подчеркнуть, что вокруг него и, главное, вокруг его «дела» и «направления» начинает складываться и концентрироваться определенная литературная и мыслительная традиция. При этом прежнему «Новому Пути» противопоставляется уже иной «Путь»:

«Спрашивал Г. о «Пути» и Морозовой...

Удивительная по уму и вкусу женщина. Оказывается, не просто «бросает деньги», а одушевлена и во всем сама принимает участие. <...>

Изданные уже теперь «Путем» книги гораздо превосходят содержательностью, интересом, ценностью «Сочинения Соловьева»...

Нельзя не вспомнить параллельную деятельность... священ. Антонова...

Там поднимаются Цветков и Андреев.

Со всех сторон поднимаются *положительные зóри*» (с. 393–394).

Казалось бы, созерцание «зорь», едва ли не мистических (отчетливо звучащее упование на скорое преображение всего существа национально-культурной жизни), есть «удел» А. Белого и А. Блока. Однако «созерцает» их и Розанов. Те же «зори» увидел он и в «поднимающемся» «новом» русском студенчестве, предметнее – в узком кружке националистической молодежи, группировавшейся вокруг журнала «Вешние воды»: «...как снежинка к снежинке в студеную зиму, начали приставать студенты и курсистки друг к дружке, лепясь около русского, лепясь около *истории* нашей разбитой и несчастной; в сущности – около благородного и чистого своего сердца» [Спасовский М., с. 33]. Не следует, однако, относить это целиком на счет болезненного самомнения или совершенно очевидных в ряде случаев «неладов» Розанова с объективной реальностью. Тем более, что сами персоналии розановских сподвижников-гениев не раз вызывали колкие насмешки. Действительно, Ф. Шперк и «Рцы», П. Флоренский (не написавший еще «Столпа и утверждения истины»), С. Цветков и Ф. Андреев (философ-богослов), «студенты» М. Спасовский, Э. Голлербах и В. Мордвинова могут представлять за русскую литературу и тем более ее новое направление лишь в творческом сознании самого Розанова. Но именно *маргинальность* (сочетающаяся к тому же с богатой *потенциальностью* возможного идейно-творческого развития) утверждаемой «традиции», ее недетерминированность никакими из определившихся и прочно устоявшихся, авторитетных «школ» и «направлений» русской литературы и философии – самое важное здесь и принципиальное для Розанова. Для этих своих «неведомых друзей» (с. 195) Розанов находит уникальное определение – «сидящие по колодцам»: «Вот сидящим-то «по колодцам» мне и хочется говорить. А базару – ничего» (с. 581). Ибо «маргинален» и потому «революционен» по своему духовному типу и он сам, несмотря на весь свой декларативный пиетет к «быту».

Все сказанное логично подводит нас к оценке специфики розановского восприятия русской литературы и основных тенденций ее развития. Проиллюстрируем эту единственную в своем роде «концепцию» русской литературы, «историю литературы» – «по Розанову»:

«Как ни страшно сказать, вся наша «великолепная» литература в сущности ужасно недостаточна и не глубока. Она великолепно «изображает»; но то, что она изображает, – отнюдь не великолепно и едва стоит этого мастерского чекана.

XVIII в. – это все «помощь правительству»...

XIX в. в золотой фазе отразил помещичий быт.

Татьяны милое семейство,

Татьяны милый идеал.

Да, хорошо... Но что же, однако, тут *универсального*? <...>

Что же потом и особенно теперь? Все эти трепетания Белинского и Герцена? <...> Исключая Толстого... все это есть производное от студенческой «куртки»... и от тощей кровати проститутки. <...> Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции – *суть и душа* всего <...> Что такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха ректора... и – усмешки хозяйки «дома» <...>

В сущности, все «сладкие вымыслы» <...>

Вообще *семья, жизнь*, не социал-*женихи*, а вот социал-*трудовики* – никак не вошли в русскую литературу. На самом деле *труда-то* она и не описывает <...>

...*Это не трудовая Русь...*» (с. 214–215).

Суть же такого «пагубного» направления национальной литературы видит Розанов вот в чем:

«Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем ее оценили: это в самом деле победа Максима Максимовича над Печориным, т. е. победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным... Могло бы и не случиться... Но Толстой всю жизнь положил за «Максима Максимовича» (Ник. Ростов, артиллерист Тушин, Пл. Каратаев, философия Пьера Безухова – перешедшая в философию самого Толстого). «Непротивление злу» не есть ни христианство, ни буддизм: но это действительно есть *русская стихия*, – «беспорывная природа» восточноевропейской равнины. Единственные русские бунтовщики – «нигилисты»...» (с. 231).

В этих и множестве подобных экскурсов в «художественную философию» русской классической литературы проявились, однако, не только рецидивы особого розановского «нигилизма». Дело здесь гораздо серьезнее: Розанов вскрывает и радикально оспаривает основной, магистральный нравственный и духовно-религиозный вектор русской литературы – ее «идеальный», православно-христианский характер, ценностную ориентацию на «смирный» (А. Григорьев) русский тип и на нравственно-религиозное «выпрямление» и «воскресение» человека («студент и проститутка»), либо на его гармоничное (гармонизированное) нравственно-социальное устройство «по новому штату» («трепетания» Белинского и революционных демократов). И вполне закономерно в плане собственных религиозно-философских воззрений и представлений о характере русской жизни Розанов предлагает качественно иной вариант национального художественного синтеза, где сохранялся бы и даже усиливался элемент *национальный*, но фактически устранялся элемент *христианский*, православный. «Прогностическая» часть «историко-литературной» концепции Розанова – яркое тому подтверждение. Согласно Розанову, на смену литературе «милых идеалов» (первая половина XIX в.) и наследовавшей ей литературе «студента и проститутки» (1860–1880-е гг.), преодолевая «метерлинковскую генерацию» (с. 243–244), т. е. русское «декадентство» (в соприкосновении с которым обретается искомый более динамичный модус национального сознания), долженствовал прийти (если, конечно, России суждено существовать и развиваться) качественно новый этап литературной и вообще национально-творческой эволю-

ции – «Батальон и Элеватор». Или, что то же, *литература «дела»* (в розановском понимании слова), базирующаяся на «волевых» и «трудовых» началах русской жизни и отражающая ее не в «обломовской» статике, а в «печоринской» динамике и в футурологическом измерении.

«Этот батальон отлично стреляет» – вот *дело*, вот гиря на мировых весах, перед которой «письма Белинского к Герцену» не важнее «писем к тетеньке его Шпоньки» (у Гоголя). Но посмотрите, в какой позе стоит Белинский с его «письмами» перед этим батальоном, да и не один Белинский...

Мне давно становится глубоко противною эта хвастливая и подлая поза...

Да, с декабристов и даже с Радищева еще начиная, наше Общество ничего решительно не делало, как писало «письма Шпоньки к своей тетушке»... упражнялись в чистописании, гораздо бесполезнейшем и глупейшем, чем Акакий Акакиевич...

Батальон и Элеватор.

Но кто его строил? Александр II и Клейнмихель. Да, этот колбасник, которого пришлось взять царям в черный час истории – потому что... сами-то русские все скрылись в «письмо тетеньки к Шпоньке», в обаятельную Natalie, и во весь литературный онанизм...

– Во фронт, потное отродье, – следовало бы им скомандовать.

– Вылезайте из-под одеяла, окачивайтесь студеной водой и пошлите делать с НАМИ историческое дело и освобождения славян и постройки элеваторов.

Тут объясняется и какая-то жестокая расправа с славянофилами:

– Эх, все это – БОЛТОВНЯ, все это – «Птичка Божия не знает», когда у нас Ничего нет.

Элеваторов нет.

Хлеб гниет на корню.

Когда немец или японец завтра нас сотрет с лица земли...

Боже мой: целый век тунеядства и такого хвастливого.

В «Былом» о чумных крысах рассказано «20 томов», сколько не было о *всей* борьбе России с Наполеоном, сколько, конечно, нет о «всех элеваторах» на Руси, ни о Сусанине, ни о всех Иоаннах, которые строили Русь и освободили ее от татар...

Поэзия-то, философия-то русской истории, ее святое место – и находится под ногами...» (с. 625–628).

Перед нами – развернутый и опять же единственный в своем роде *эстетический проект «новой» русской литературы*. Именно «Батальоном и Элеватором» венчается развитие как общественной, так и «литературной» тем в «Уединенном» и «Опавших листьях» – это действительно некое «последнее слово» Розанова, диалектически смыкающее «литературу» и «общественность» в грандиозной задаче национально-творческого *строительства*. Далеко не случайно в цитированном фрагменте звучат столь характерные для религиозной психологии Розанова апокалиптические ноты, заметно предощущение надвигающейся глобальной катастрофы, перед лицом которой у России и русского общества «ничего нет». Однако и утопизм этого проекта очевиден: для его реализации потребовалось бы не только «преодолеть» предшествующую якобы бездельную и «онанистическую» литературу, но и саму тысячелетнюю структуру национальной ментальности. Любопытно, что нечто подобное намеченным Розано-

вым «преобразованиям» попыталась, причем не менее «программно», осуществить литература соцреализма; «соцреалистический» пафос явственно ощутим и в пассажах Розанова. Но, если провести параллель между «Элеватором» Розанова и, допустим, «Цементом» Ф. Гладкова, выяснится глубинный идеализм розановской программы национально-литературного «строительства»: оно по преимуществу мыслится внутри самого национального сознания («общественного», религиозного, философского и эстетического), а не во внешних (объективных) формах быта. Собственно, ничего объективного, кроме пресловутой «религии» пола, брака и семьи, Розанов предложить этому национальному сознанию не смог. И все же нельзя не отметить прочувствованного Розановым факта *проблемности* развития русской литературы: сильный, волевой и деятельный русский тип Печорин как «литературное течение» оказался, подобно реальному «Чернышевскому», «ободран на лапти Обломову» (с. 208) – «беспорывной» русской природе, в то время как огромные и *значимые* сегменты вечно «волнующейся», *сложной* в своей живой динамике русской жизни были совершенно обойдены вниманием.

Итак, «преодоление» литературы «по Розанову» следует оценивать и понимать не как эстетическую «игру», а как некое важное для него и *жизненное* (во всех оттенках этого слова) *дело*. Ибо так понимал свою писательскую задачу сам Розанов, претворяя ее в «ткань» «другой литературы» – *литературы дела*. Что же такое тогда «Уединенное», «Опавшие листья» и вся последующая беллетристика Розанова этого типа – в своей *функциональности* (не в объективной или «имманентной» художественной реальности, каковая есть предмет специального изучения)? Именно *проект*, модернистский по гносеолого-эстетическим предпосылкам и основам, консервативно-националистический (патриотический) в плане общественно-философской позиции писателя и конкретного идейного наполнения, противоположный по смыслу, целевым установкам и прогнозируемым «итогам» всем имевшимся (и даже имевшим место быть впоследствии) направлениям и «линиям» развития русской литературы и потому явно маргинальный, никем всерьез не воспринятый «по факту», но с реализацией которого Розанов связывал, в конечном итоге, будущее русского национального творчества. Говоря проще и предметнее, в «Уединенном» и «Опавших листьях» Розановым дано, философски и литературно-эстетически оформлено особое *направление национального мышления и творчества*; эти книги представлены, преподнесены их автором – вполне осознанно и целенаправленно – как *должное направление* национального мышления и творчества. «Исполнением» столь грандиозной задачи и определяется, как можно видеть, специфика творческих исканий Розанова 1910-х гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., напр.: Емельянов В.А. «Другая литература» В.В. Розанова и современная русская проза // Проблемы эволюции русской литературы XX века: Материалы межвуз. науч. конф. Вып. 2. – М., 1995; Орлицкий Ю.Б. В.В. Розанов: проект литературы XX века // Энтелехия. – Кострома, 2002, № 5; Голубева Л.Н. «Смысл – не в вечном; смысл в мгновениях»: В.В. Розанов о человеке, Боге и мире // Русская литература и философия: постижение человека: Материалы всерос. науч. конф. – Липецк, 2002. В этих

и многих других работах оцениваются разные грани и нюансы того теоретического концепта, своеобразными «отцами-основателями» которого стали Д. Галковский и В. Ерофеев, не только литературоведчески поставившие проблему «постмодернизма» Розанова, но и литературно-эстетически ее «утверждающие» в своей беллетристике якобы «под Розанова».

2. См.: Кондаков И.В. «Последний писатель»: В. Розанов между консерваторами и радикалами // Энтелехия. – Кострома, 2000, № 1. Фактическая сторона данной проблемы обстоятельно разработана в исследованиях А. Николюкина, В. Сукача, В. Фатеева, Е. Барабанова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Никитин С. «В.В. Розанов – Д.С. Мережковский». «Мое исключение из философского общества? Подул ветер мимо моего окна – я его не почувствовал» // Петербургская газета. – 1914. – 29 января (№ 28).
2. Розанов В. В. Соч.: В 2-х т. Т. 2. «Уединенное» и «Опавшие листья» цитируются по этому изданию со ссылкой на страницы. – М.: Правда, 1990.
3. Розанов В. В. Собр. соч.: О писательстве и писателях. – М.: Республика, 1995.
4. Розанов В. В. Собр. соч.: Сахарна. – М.: Республика, 2001.
5. Спасовский М. В.В. Розанов в последние годы своей жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. – Берлин, [1939].

«COMPLETELY DIFFERENT SUBJECT, DIFFERENT TREND, DIFFERENT LITERATURE»: V. V. ROZANOV'S CREATIVE QUEST OF THE 1910s

Y.V. SARYCHEV

Department of 20th Century Russian Literature
M.V. Lomonosov Moscow State University
Leninskie (Vorobyevy) gory, 119992 Moscow, Russia

On the material of «The Solitary» and «Fallen Leaves» the correlation of social conservatism and literary modernism is analysed in V.V. Rozanov's prose of the 1910s. Ideological and aesthetic supertask of the given period consisting of the author's assertion (by means of his aesthetics) of peculiar (new) trend of Russian national thought and creation is defined.